



Борис
Друян

Неостывшая
память

Издательство
Геликон Плюс

Борис Григорьевич Друян

Неостывшая память (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6496770

Неостывшая память: Воспоминания: Геликон Плюс; Санкт-Петербург;

2013

ISBN 978-5-93682-856-0

Аннотация

Книга известного литератора, журналиста, редактора Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о Школе юнг, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири. Во второй части – невыдуманные рассказы о писателях и книгах теперь уже далекой эпохи застоя. «Биографии» книг были весьма разнообразны: у одних – счастливые, у других – трагические, поскольку дойти до читателя им было чрезвычайно трудно, а то и не суждено. Но все книги подстерегали общие опасности: беспредел цензуры и недремлющий взгляд партийных идеологов. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

Содержание

Все это было	5
Голоса из военного детства	5
Тридцать три года спустя	38
Возвращение	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Борис Друян Неостывшая память (сборник)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы).»

© Друян Б., 2013

© «Геликон Плюс», макет, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Все это было

Моей жене Дине

Голоса из военного детства

*Я помню руки матери моей,
Хоть нет ее, давно уж нет на свете...*

Николай Рыленков

Всегда удивляюсь, даже завидую тем, кто помнит себя и окружающих с самого раннего детства. У моей памяти четкий отсчет: начало войны, когда мне было почти пять лет. А до этого – лишь редкие, короткие проблески, неосозаемые ощущения.

Вот мама ведет меня гулять через проходные дворы на набережную Обводного канала. Она крепко держит меня за руку, опасается, что я, не дай Бог, упаду. Мне это не нравится, я умудряюсь вывернуться и тут же плашмя падаю в густую летнюю пыль. Мама меня поднимает, отряхивает, ласково укоряет, и мы тихо идем вдоль залитого солнцем канала. Внезапно раздается пронзительный звук сирены воздушной тревоги. Мама быстро бежит к дому, прижимая меня к

груди. А противная сирена все воет и воет...

Хорошо помню вечер, когда не оказалось дома отца. Еще бы, он всегда после работы подбрасывал меня высоко-высоко к сияющей хрусталем люстре. Мне весело и немного страшно, но у отца такие сильные руки. Он хохочет, во рту его блестит золотой зуб. Мама отнимает меня, и мы уже все громко смеемся...

А сейчас мне тоскливо. Я хнычу. Мама утешает меня, говорит, что папа ушел на войну, скоро вернется и опять мы будем вместе.

Вскоре я совсем ненадолго увидел отца и, как оказалось, в последний раз. Я точно знаю, где это произошло и как это случилось. Мы жили в четвертом дворе дома 18 по Измайловскому проспекту, недалеко от Варшавского вокзала. Проспект пересекают Красноармейские улицы – бывшие Роты Измайловского полка. На них располагались казармы. Так случилось, что мой отец, рядовой красноармеец, оказался в одной из этих казарм.

Рядом с проспектом, на 9-й Красноармейской, у глухих ворот мы долго стоим с мамой. Наконец ворота открываются, появляется колонна солдат и поворачивает направо. Мой отец небольшого роста, он шагает в конце колонны. Мама поднимает меня на руки и кидается навстречу ему. Видимо, отцу разрешили выйти из строя, он берет меня на руки и це-

лует, целует, что-то говорит мне и маме.

Колонна уже двигается по Измайловскому, огибая слева нечто диковинное: одетые в военную форму женщины медленно несут гигантского размера длинное толстенное чудо-вище. Конечно, я лишь много позже узнал, что это чудо-юдо называется аэростатом воздушного заграждения. Тогда же я никак не мог отвести от него взгляда, не слышал, что говорит мне отец. Колонна повернула направо – на 2-ю Красноармейскую и стала втягиваться в ворота казармы. Отец передал меня плачущей маме, расцеловал нас и скрылся за воротами...

Много-много лет спустя я жил в доме по соседству с этой самой казармой, ежедневно проходил мимо нее, заглядывая через открытую дверь проходной во двор. Однажды, когда военных куда-то перевели и здание ремонтировали, я беспрепятственно вошел внутрь, тщательно обследовал все помещения, пытаясь представить отца, стоящим вот у этого окна, или шагающим вот по этому длинному коридору, или спускающимся вот по этой старой лестнице. Жилось ему, как и всем ленинградцам, неимоверно трудно. Старшая сестра моей мамы Елизавета Александровна Шувалова вспоминала, как в страшную зиму 1941–1942 года навещала в казарме вконец исхудавшего моего отца. Сама измученная голодом, она приносила ему драгоценные гостинцы – что-то из своего скудного блокадного пайка. По натуре он был щедрым, веселым человеком, до войны постоянно помогал ее семье из пя-

ти человек. Ее рано умерший муж Михаил и мой отец Григорий были большими друзьями. По праздникам все родные собирались в маленькой отдельной квартирке Шуваловых на проспекте Огородникова. За столом веселились, пели песни и разыгрывали друг друга...

И сейчас закрою глаза – и отчетливо вижу вокзал, толпы людей с чемоданами, узлами, плачущих детей, суматошную посадку в теплушки. Мама, ее мама – бабушка Аня, средняя мамина сестра Прасковья – тетя Паня – с грудным сыном Эдиком, мой сводный десятилетний брат Лёня и я эвакуируемся в Костромскую область. Там родина бабушки, мамы и ее сестер. Нас провожает тетя Лиза, она пока остается. (Это пока растянулось на два бесконечных блокадных года). В теплушку набилось много женщин и детей. Долго и шумно устраиваемся. Мы угнездились невдалеке от дверей. И вот поезд судорожно дернулся и поплыл мимо платформы, забитой провожающими. Мама со мною на руках стоит около дверей. Я вижу бегущую рядом с вагоном плачущую тетю Лизу в сбившейся черной соломенной шляпке. Она что-то кричит, все отстает и отстает от вагона и машет нам рукой...

Прерывисто гудит паровоз, поезд резко, с визгом замедляет ход, останавливается. Люди выпрыгивают из вагонов и бегут по полю. А над теплушками с ужасным ревом проносятся немецкие самолеты. Мама падает на землю, но так расчетливо, что я оказываюсь под нею. Мне страшно, душно и тяжело. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец

наступила тишина. Паровоз короткими гудками зовет тех, кто успел разбежаться от состава. Медленно, очень медленно трогается поезд. Мама вбрасывает меня в теплушку кому-то в руки, кто-то помогает ей и брату Лёне взобраться вслед за мной, кого-то она сама затаскивает за руку в вагон. Все возбужденно переговариваются. Мама ни на шаг не отпускает меня от себя, обнимает, шепчет на ухо ласковые слова. Мне всегда так хорошо, тепло и уютно рядышком с нею...

Смутно помню долгую дорогу до Галича. Оттуда на лошадах пятьдесят километров ехали до Чухломы, а потом – до глухой деревеньки Федоровское.

Поселились в двухэтажном бревенчатом доме у близких родственников – Шараповых. У Федора Сергеевича и Елизаветы Ивановны – четверо детей: Катя, Тоня и их младшие братишки Миша и Саша.

Нам отвели комнату на втором этаже. Конечно, было тесновато, ведь нас как-никак шесть человек. Впрочем, когда похолодало, мы с братом преимущественно обретались на первом этаже на просторной русской печи с широкими полатями. Там вместе с Мишей и Сашей спали, баловались среди валенок и разного тряпья. Запомнилось, как в недрах этой самой печи меня мыла мама. Но это было всего один раз, когда спешно ремонтировалась баня...

Однажды мы проснулись рано утром от гула голосов. Сверху, с полатей, нам было видно все до мельчайших по-

дробностей. Колхозники по очереди подходили к столу, за ним стоял человек, а перед ним весы с гирьками, на которых он взвешивал коричневатую массу. Каждый человек укладывал ее в свою посудину и не торопился уходить, принимая участие в общем разговоре. Никто из нас не мог понять, что же делят там внизу.

И вдруг меня осенило: это же халва, такой пичкали меня в Ленинграде родители! Я ее безропотно ел, а вот плитки шоколада иногда втихаря прятал на узкие полочки с внутренней стороны обеденного стола. План созрел немедленно. Тихонько сполз с печи, между людских ног пробрался к столу, схватил с чаши весов кусочек халвы, сунул себе в рот и заорал, кашляя, захлебываясь и плача. Из рта пошла густая пена и пузыри. Оказалось, схватил я в рот вовсе не халву, а столь же дефицитное во время войны мыло – не жидкое и не твердое, а нечто так похожее на халву.

Люди громко хохотали, а маме было не до смеха. Она пальцем выковыривала изо рта у меня гадость, которую я не всю успел проглотить, долго заставляла меня полоскать рот. Потом я съел большую горбушку хлеба и долго сосал кусочек колотого сахара, уничтожая мыльное послевкусие. Мама утешала меня и, как всегда, обнимала и оглаживала, хотя за воровство, да еще на виду у всего честного народа, я заслуживал хорошей трепки.

Небольшая деревня Федоровское расположилась в живо-

писном месте. Невдалеке находилось Чухломское озеро, из него вытекала спокойная речка Вёкса, которая плавно огибала деревню. С нашей стороны берег пологий, топкий, заросший густым камышом. На противоположном берегу на высоком откосе возвышались полуразрушенные строения древнего Авраамиева монастыря. С довоенных времен там размещалась МТС – машинно-тракторная станция. Левее, вниз по течению, перегораживала Вёксу плотина. Здесь же – мост-переправа на другую сторону реки и действующая мельница. Справа от деревни узкая дорога убегала мимо маленького болота к деревеньке Туруково. «Маленькое болотце», как все его называли, переходило в густой, полный грибов и ягод подлесок, который плотным полукольцом обнимал Федоровское.

Со всех четырех сторон деревня наша была огорожена длинными жердями. Широкий проход освобождался от жердей дважды в сутки: ранним утром пастух уводил стадо на выпасы, а вечером пригонял обратно.

Посередине деревни стояла ветхая деревянная часовня. В ней хранилось колхозное зерно. Никто, кроме кладовщика и председателя колхоза Мумрина, заходить туда не имел права. Рядом с часовней в окружении высоких плакучих ив располагался довольно глубокий пруд. На его берегу возвышался большой двухэтажный домина. До революции он принадлежал какому-то богатею, а сейчас в одной из комнат помещалось правление колхоза. Все остальные комнаты были

давно заброшены, окна разбиты, в дверных проемах – пусто-та.

Нам, малышам, летом разрешалось бегать лишь до загородки, но мы добирались и до мельницы, и до болотца, где росла сочная клюква и морошка, на окраине леса собирали чернику, бруснику, грибы. Особенно много было рыжиков. А вот зимой на улице морозище, погулять нас выпускали ненадолго, и мы сидели по избам. Правда, очень-то скучать в нашем перенаселенном доме и зимой не приходилось. Все начиналось с самого утра, когда мы, едва накинув одежонку, выскакивали на крыльцо и соревновались, кто дальше пустит струю. Все было без обмана, схитрить невозможно: на снегу четко обозначены желтые пунктирные следы. Иногда нас, слишком уж разыгравшихся четырех пацанов, загоняли на полати, но и там мы учиняли тарарам с визгом, хохотом, порою – с отчаянным ревом.

Наша тихая бабушка Аня целыми днями нянчилась с маленьким Эдиком, на нас она вовсе не обращала внимания. Через год после приезда она умерла.

Мою маму Ираиду все звали просто Раей, Раечкой. Она была очень красивая. Небольшого роста, с открытым ясным лицом, она в начале тридцатых приехала в Ленинград из Костромской глубинки с ребенком Лёней на руках. Едва увидев ее, мой будущий отец Григорий, как вспоминала тетя Ли-за, влюбился, долго добивался и все-таки добился ее согла-

сия выйти за него замуж. Маму он боготворил и дико ревновал ко всем на свете. Лёню усыновил и любил как родного. Вскоре на свет появился я, предмет безмерной родительской любви.

Жили мы на втором этаже в шестнадцатиметровой комнате четырехэтажного дома, даже не в коммунальной квартире, а, как говорилось, в коридорной системе. По существу это было самое настоящее общежитие: через весь этаж проходил узкий коридор, слева и справа – двери в комнаты. Каждые две соседние комнаты отапливались одной общей круглой печкой. Дрова хранились во дворе в бесчисленных сарайчиках, обитых ржавым железом. На всех этажах, кроме первого, где помещалась зеркальная мастерская, было около тридцати комнат. Посередине располагалась огромная кухня, в самом центре ее стоял длиннющий стол. В сторонке – две чугунные раковины-рукомойники. О горячей воде даже не мечтали. Пищу готовили на примусах. Мы жили в комнате № 100, а в 113-ой обитала семья маминой сестры тети Пани.

Нашу счастливую жизнь разорвала война. И вот теперь в родной деревне мама стала простой колхозницей. Рано утром, чуть свет, звонкий колокольчик бригадирши тети Нюры будил деревню. Она обходила избы и «наряжала» людей на работы. Мама трудилась и в поле, и на скотном дворе, и даже наравне с мужиками на лесных делянках, ловила сетями рыбу в Чухломском озере. Мужиков-то в деревне было

очень мало, все были на войне.

Однажды поздней осенью, насквозь мокрая, она принесла домой увесистый кусок огромной щуки. Тогда мама жестоко простудилась, и ее больше в рыболовецкую артель не посылали.

В деревне все жили одинаково трудно. На заработанные трудодни мало что выдавали, лишь в ведомостях ставили ничего не обеспечивающие палочки. А в каждой избе – голодные ребятишки, их надо кормить, вот женщины и крутились как могли, надрывались на работах. Мы всё видели и примечали, слышали, как взрослые недобрыми словами костерили госпоставки: надо было регулярно сдавать государству зерно, мясо, овечью шерсть, животное (коровье) масло, куриные яйца. Со слезами подписывались на облигации государственного добровольного займа – добровольным он только назывался.

И все же традиционные праздники, например Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу, а также престольный праздник нашей деревни Абрамьев (Авраамиев) день отмечали весело и сытно. Хозяйки загодя приберегали продукты. С раннего утра во всех избах топят печи, пекутся пироги, на Масленицу – блины, в Пасху – невероятно вкусные куличи и творожные пасхи, а на столах в больших деревянных площадках сияют покрашенные луковой шелухой куриные яички. Утром празднично наряженные матери брали нас с собою в Нероново в церковь, где проходила служба. Хорошо помню,

как старенький поп причащал меня, вливал в рот маленькую ложечку с необыкновенно сладкой жидкостью...

В середине дня столы заставлены мисками с обязательной горячей картошкой, студнем, квашеной капустой, огурцами, грибами. А посередине – бутылки с мутным самогоном и с тем же самогоном, только подкрашенным клюквенным морсом. Взрослые пили мало, берегли себя до вечернего застолья. Мы ели «от пуза», бегали по избам в гости, играли, стучались, иногда жульничая, крашеными яичками, ссорились и тут же мирились. У нас была своя жизнь, у взрослых – своя, им было не до нас, и всем было радостно и весело.

Летним вечером на улице, а зимою в чьей-нибудь избе (часто это было в нашей) устраивалось празднество «в складчину»: все приносили с собою на общий стол разную снедь и бутылки с самогоном и брагой.

Нам с полатай было видно все, что происходило в горнице. Сначала в полной тишине произносили тост за победу над проклятыми фашистами, затем, чинно, вполголоса переговариваясь, выпивали из граненых стопок, кричали, морщились, закусывали. Постепенно разговор становился громким и хмельным.

Нередко бывало и так: веселье прерывалось сдавленным женским рыданием. Накануне кому-то пришла похоронка на мужа. Несчастную утешали такие же несчастные, как она.

После очередной стопки наступает время первого парня на деревне – гармониста Бориса Смирнова, которого все в

деревне почему-то величали Борькой Сарафановым. Не торопясь, он берет в руки гармонь, растягивает мехи, пробегается пальцами сверху вниз по пуговичкам-басам и голосам и вопросительно смотрит вокруг. Решено начать с песен. Учительница Антонина Алексеевна Крошкина уверенно начинает: «На позицию девушка провожала бойца...» Ее поддерживают остальные. Поют хорошо, слаженно, душевно. «Синенький скромный платочек...», «В далекий край товарищ улетает...», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», «Иза острова на стрежень...».

Нам особенно нравилась песня о настоящей мужской дружбе двух фронтовиков, один из них был нашенским, костромичом:

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек – костромской.

Они, словно братья, сроднились,
Делили и хлеб, и табак,
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.
В штыки ударяли два друга,
И смерть отступала сама.
А ну-ка, дай жизни, Калуга!
Ходи веселей, Кострома!
Но вот под осколком снаряда

Упал паренек костромской.

– Со мною возиться не надо, —

Он другу промолвил с тоской. —

Я знаю, что больше не встану,

В глазах беспросветная тьма.

– О смерти задумал ты рано,

Ходи веселей, Кострома! —

И бережно поднял он друга,

Но сам застонал и упал.

А ну-ка, дай жизни, Калуга, —

Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознание от боли,

Себя подбодряли дружки.

И тихо по снежному полю

К своим поползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,

Пропала смертельная тьма.

– А ну-ка, дай жизни, Калуга!

– Ходи веселей, Кострома!

Навсегда запомнил я слова этой песни. У меня тогда была открытка, которую бережно хранил. На ней – матрос в бело-снежном маскировочном халате. В руках он держал винтовку со снайперским прицелом. Из-под капюшона виднелась бескозырка. Конечно же, в мечтах я видел себя на его месте,

метко стрелял по врагам...

И вот со стола всё убирают, уносят его в сени, а пока девчата и молодые парни под отчаянную дробь каблуков поют частушки – озорные, лукавые, а то и хлесткие о милом и милашке, о голых трудоднях, о подлом изменщике, о гордячке-зазнобе, о бригадире и председателе. Подкалывали и нас, эвакуированных ленинградцев, ведь мы не могли, как местные костромичи, в разговоре заметно напирать на «а» – акать:

Ленинградские чивокалки —
Чиво, чиво, чиво.
Прочивокали чивокалки,
Не стало ничиво!

Почти все частушки пересыпаны солеными словами. Остроросовременные и образные – о ненавистном Гитлере:

Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.

Сидит Гитлер на березе,
Яйца болтаются,
А на яйцах написано:
«Война кончается».

Частушки явно торопили победу. До конца войны еще было ох как далеко! Еще многие избы огласят округу безысходным воем, туда придет очередная похоронка.

А пока – праздничное веселье. Частушки сменяются общим танцем под названием «Козуля». Он состоит из семи частей, в каждой свой «манер», мелодия, рисунок, ритм. Неторопливый танец сменяется бурным переплясом. В дело вступает трензель. Таких музыкальных инструментов я никогда потом в своей жизни не видывал. Он состоял из блестящего металлического треугольника, толщиной в мизинец.левой рукой «музыкант» держал небольшую ручку на верхнем углу трензеля, а правой выбивал металлической палочкой звонкую дробь, идеально вступая в мелодию сарафановской трехрядки.

Парни не забывают прикладываться к самогонке. Возпревшему гармонисту подносят особо, уважительно. Он привык к всеобщему вниманию, снимает гармошку с плеча и лихо опрокидывает стопку.

Разгоряченные высоким градусом, ребята вываливаются на улицу покурить, поспорить, повздорить, а иногда покуражиться и подраться. Дрались не очень серьезно, без особого вдохновения, ведь все в деревне свои, многие состоят в близком или дальнем родстве. Драчунов быстро разнимали. Другое дело, когда налетала хмельная ватага из другой деревни выяснять отношения, предъявлять давние претензии.

И тут без частушки не обходилось:

Самолет летит,
Колесы спёрлися.
Мы не звали вас,
А вы приперлися.

С криками, матом шли стенка на стенку. Дубасили друг друга кулаками, только что выдернутыми из оград и заранее припасенными кольями. В конце концов неожиданные гости почитали за благо удалиться. Их возбужденные голоса еще долго слышались из-за околицы. Победители дружно распевали:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не плошали —
Того дожидалися.

А вот поножовщины случались крайне редко. Мы с опаской, затаив дух, издалека наблюдали за происходящим до тех пор, пока нас встревоженные матери не водворяли в дом.

Праздник заканчивался на свежем воздухе далеко за полночь громкими нестройными песнями и частушками под захватскую гармошку Борьки Сарафанова.

Рано утром вновь звучал настойчивый колокольчик тети Нюры. Начинались долгие привычные рабочие будни.

И опять я видел уставшую маму лишь вечером, перед сном. Я ей рассказывал, чем занимался целый день, с кем играл в лапту, как ловко выдергивал на конюшне из хвоста смирной лошади длинные волосы на леску, а потом ловил маленькую рыбешку на пруду, жаловался на появившиеся на ногах цыпки. Мама восторженно и встревоженно ахала, густо смазывала мои ноги до колен сметаной. Не было случая, чтобы она не обняла меня, не наговорила нежных, ласковых слов.

Иногда почтальонша приносила солдатские треугольники от отца и от дяди Лёши – мужа тети Пани. Вечером все обитатели избы садились вокруг стола и при свете керосиновой лампы читали письма вслух. Были они краткие, некоторые строки густо замазаны черным военной цензурой. Отец интересовался нашим житьем-бытьем, передавал всем поименно приветы, неизменно спрашивал обо мне и о брате Лёньке, о том, как я расту, здоров ли, ведь до войны я частенько хворал. Мама платком вытирала слезы, а потом принималась писать отцу ответное письмо.

Тетя Паня почти сразу же по приезде в деревню устроилась на легкую работу – стала счетоводом, а потом и бухгалтером. В деревне все у всех на виду, и вскоре стали поговаривать, что председатель Василий Ефимович Мумрин и Прасковья Полякова не зря частенько вместе ездят в Чухлому. Конюх запрягал лучшего жеребца в легкую двуколку, и они отбывали в райцентр по своим неотложным делам. Мы на

полотях слышали, как хозяева дядя Федя и тетя Аня вполголоса их осуждали, сочувствовали жене председателя Степаниде, которая, без сомнения, обо всем давно догадывается, но молчит.

После смерти бабушки Ани с годовалым Эдиком нянчилась одетая во все черное очень богомольная женщина Люба. Она переселилась к нам из соседней деревни. Была она молчаливая и крайне редко выходила из себя, если мы ей очень уж досаждали. «Подтираны! Кровопийцы!» – беззлобно повышала она голос. Но на нас, «подтиранов», ее покрикивания не действовали.

Осенью 1942 года пришло письмо от отца. Он писал, что находится после ранения в госпитале в городе Череповце. Мама сразу же засобиралась к нему.

Провожала ее вся родня. Уезжала она с котомкой гостинцев на попутной повозке до райцентра. А от Чухломы ей предстояло ждать okazji до Галича. Я никак не хотел ее отпускать, в последний момент вцепился в нее и задохнулся от плача. Еле оторвали меня от мамы. Лицо ее было мокрым от слез. Мы еще долго стояли и смотрели вслед повозке, пока она не переправилась на другую сторону Вёксы.

Это сейчас дорога до Череповца занимает совсем немного времени. А тогда, добравшись до Галича, надо было добыть место в теплушке и долго-долго ехать, останавливаясь перед встречными и пропуская попутные составы с военными гру-

зами.

Я очень тосковал. Каждый день бегал к мельнице, долго сидел на широких перилах моста и глядел в сторону деревни Андреевское, ожидая маму. Дни шли за днями, а она все не возвращалась.

И все же прозевал ее приезд. Невдалеке от нашего дома мы с ребятами играли у большущей, никогда не просыхающей лужи. И неожиданно я услышал родной голос. Со всех ног кинулся навстречу, раскинул руки и уткнулся в черную юбку мамы. Она бросила на землю поклажу и подхватила меня на руки. В этот миг для меня ничего и никого не существовало, кроме моей мамы. Ощущение безмерной радости, теплоты, счастья захлестнуло меня, и я, обхватив ее шею, залился громким плачем. Мама и сама плакала и смеялась, крепко прижимая меня к себе.

Вечером за столом она рассказывала о дорожных приключениях, об отце. Он уже шел на поправку, и его вскоре должны отправить на фронт. Потом все по очереди рассматривали карандашный рисунок. На нем самодеятельным художником был изображен отец в больничной рубашке. А на его груди – медаль «За отвагу». Тогда я впервые почувствовал, что такое гордость. Гордость за отважного, смелого отца. Ну и что, что медаль приколота не к военной гимнастерке, а к обыкновенной больничной рубашке!

Самое страшное, непоправимое в моей жизни случилось

в самом начале 1943 года. Стояли сильные морозы, деревню завалило снегом. В доме было непривычно тихо, взрослые переговаривались вполголоса. Мы на полотах испуганно молчали и старались не смотреть вниз. Там посередине комнаты стоял гроб. В нем лежала моя мама. Она умерла. А мне все казалось, что этого не может быть, что вот она встанет и все будет по-прежнему, она возьмет меня на руки и крепко-крепко прижмет к груди.

В полдень в избу набилось много народу. Кто-то сказал, что надо детям проститься. Нас с братом Лёней подвели к гробу. Лицо мамы было спокойным и неправдоподобно красным. Только тут я понял весь ужас происходящего и в голос заревел. Вместе со мной плакал мой старший брат.

Появился соседский мужик Лёха Крошкин и сказал, что могила готова и пора отправляться, надо все успеть засветло. Гроб закрыли крышкой и вынесли из дома. Помню себя плотно закутанным в тулуп. Лошадь медленно тащит дровни заметенной снегом дорогой в Понизье, что километрах в трех от нашей деревни.

Наконец мы на месте. В храме зажжены свечи, священник читает заупокойную молитву. Я гляжу на все сквозь слезы, понимая, что это последние мгновения, когда вижу мою маму. И вот я целую бумажную полоску на ее лбу и, рыдая, пытаюсь обнять маму, но меня оттаскивают чьи-то руки.

Свежевырытая могила в двух метрах от стены церкви. Рядом кованый крест на могиле бабушки Ани. Стучат молот-

ки. Крышка прибита к гробу. Мужики на веревках опускают его в могилу. Меня заставляют бросить туда, на гроб с мамой, мерзлый комок земли. Лопаты быстро сделали свое дело. Всё... Женщины обнимают меня, что-то говорят, плачут, я впервые слышу жалостливое: «сирота», «сиротка», «сиротинка».

Я долго не знал, от чего умерла моя мама, пока мне через много лет не рассказали, что из Череповца, где лежал в госпитале отец, она вернулась беременной. У нее уже были мы с братом, и она решила, что родить и воспитывать еще одного ребенка в тяжкие военные годы ей не под силу. Официальные аборт были строго запрещены, и мама прибегла к помощи деревенской бабки. Умерла она от заражения крови. Вот почему в гробу у нее было красное лицо.

От отца с Ленинградского фронта пришло письмо. Он просил тетю Паню сохранить нас с Лёнькой, а уж он, если будет жив, сполна оплатит ее заботы. Оставшиеся после мамы семейные драгоценности он передает ей для нашего воспитания.

Между тем к нам насовсем переселился председатель Мумрин, бросив семью и наплевав на осуждение жителей деревни. Был Василий Ефимович бородат, хамоват, неулыбчив. Человек крутой, убежденный в собственной значимости и непогрешимости, он уважал лишь одно мнение – свое.

Изъяснялся с колхозниками в основном матерными словами в самых разных комбинациях. Было ему за пятьдесят, от призыва на фронт был освобожден. Любил к месту и не к месту ввернуть, что он старый вояка: «В Первую империалистическую служил в Вильне каптенармусом». Люди вынуждены были терпеть его самодурство. Но иногда терпению приходил конец. Однажды поздним вечером сильно выпивший Леха Крошкин решил проучить зарвавшегося председателя, а заодно и бухгалтершу. Несмотря на уговоры хозяев дома, он стал подниматься к нам на второй этаж с проклятиями и угрозами. Перепуганные тетя Паня и Мумрин спешно приперли дверь массивным шкафом, уперлись в него, сопротивляясь мощным толчкам разъяренного Лёхи. Мумрин надсадно хрипел, а тетя Паня громко верещала: «Помогите! Караул! Помогите!» С большим трудом прибежавшие соседи уговорили Крошкина оставить в покое ненавистную парочку.

Нам с братом велено было называть Мумрина дедушкой. Дедушка не стеснялся обложить нас матом, за малейшую провинность дать крепкую затрещину. Не очень-то отставала от него и тетя Паня, награждала нас подзатыльниками, ставя в пример своего малолетнего Эдика. После смерти мамы я редко слышал от нее добрые слова. В душе копилась обида, и как-то после незаслуженной трепки и уже привычных обвинений в дармоедстве я впервые в жизни совершил дурной поступок: ни в чем не повинного спящего двоюрод-

ного братишку Эдика спихнул с сундука. С тех пор он стал заметно заикаться. Чем чаще меня обижали, тем больше росло ожесточение, я мечтал скорее стать взрослым и очень сильным. А пока в минуты отчаяния залезал на сеновал и горько плакал, вспоминая маму, ее ласковые прикосновения, родной голос.

Иногда в деревне происходило такое, о чем люди еще долго говорили.

Однажды летом мы с ребятами играли в прятки возле большого дома, где помещалось правление. Мы частенько подлезали под высокий первый этаж, где всегда было темно, прохладно и страшновато. Никто не обращал внимания на свисавшие из щели какие-то заскорузлые кожаные ремни. А вот на этот раз один мальчишка в темноте с разбега больно уткнулся в ремни и взвыл от боли. Дома он признался, откуда у него на лице царапины. Его дед не поленился и полез под дом. Отодрал одну доску, другую и обнаружил дореволюционный клад. Там были старинные монеты, блюда из серебра, бронзовые подсвечники. Большую пачку царских бумажных денег он роздал нам, приятелям его внука. В деревне только и говорили о найденном кладе. Дома я честно признался, что много раз видел под домом свисающие из щели старые ремни. Признался и тут же пожалел, получив сильный подзатыльник...

А злополучный дом вскоре дотла сгорел. От чего – никто

не знал. На его месте, на берегу пруда, для Мумрина, а, значит, теперь для нашей семьи вырос новый дом.

Как-то у нас появился невесть откуда взявшийся портной. По заказу Мумрина он сшил для него рубаху-косоворотку из нового материала под странным названием «чертова кожа». Портной, как оказалось, не имел представления, как шить косоворотки. Вместо ворота от правой скулы вниз до груди он соорудил поистине косо́й ворот – от правого уха до левой подмышки. Дед был вне себя: любая ткань, а тем более новая, была редкостью, люди донашивали старые довоенные одежды до крайней ветхости. Одеть невиданного покроя косоворотку на всеобщее посмешище Мумрин, конечно же, категорически не захотел. От ярости он адресовал портному весь свой богатейший матерный запас, присовокупляя забористое «... в стос!». Ни до, ни после Мумрина я эдакого не слыхивал даже от завзятых матерщинников. Взять с бедного портного было нечего, и он прожил у нас несколько дней, перешивая и перелицовывая старые вещи за скудную еду. Деревня помирала со смеху, узнав об истории, приключившейся с председателем.

Внезапно на три дня приехал муж тети Пани дядя Лёша, военный авиационный инженер. Понятия не имею, как тетя Паня объяснила ему проживание в одном доме с председателем колхоза. В эти дни в комнату, где были тетя Паня и ее муж, Мумрин не заходил. Со мной и братом дедушка был необычайно ласков. Дядя Лёша уехал, и всё встало на свои

привычные места.

Запомнился и приезд летом в краткий отпуск по ранению Саши Соловьева – то ли двоюродного, то ли троюродного племянника мамы. На нем ладно сидела танкистская форма. На плечах красовались погоны старшины. Ватага восторженных мальчишек преследовала его по пятам. Я был горд, ведь из всех пацанов он выделял меня, называл братиком, приобнимал за плечи, когда мы неторопливо шагали по деревне. А вечерами на огороженную скамейками и утрамбованную сапогами площадку собиралась молодежь на зов гармошки Бори Сарафанова. Тут уж отбою Саше от девчонок не было. Как-то тетя Паня послала меня его разыскать – он не приходил ужинать. Довольно быстро я обнаружил его целующимся с девушкой за сараем. Стараясь быть незамеченным, я ретировался, поглазел на танцующих, не спеша вернулся домой и доложил, что Сашу не нашел. Вскоре он снова ушел на фронт. Провожала его вся молодежь деревни. После войны я видел его лишь один раз и рассказал, как искал его в тот памятный вечер и что видел за сараем.

В сентябре мне исполнилось восемь лет. Я пошел в первый класс. Брат Лёня уже учился в пятом классе в Ножкино, рядом с монастырем, потом забросил учебу и стал работать в кузнице учеником молотобойца. Дружил он с Мишей Крохалевым. Брата привечали в доме Крохалевых: они были родственниками его родного отца, давным-давно невесть где

пропавшего.

Наша четырехклассная школа находилась совсем недалеко от Вёксы. В школе были две небольшие комнаты. В одной за партами располагались ученики первого и второго классов, в другой – третьего и четвертого. Учили нас две приветливые, добрые учительницы – Нина Сергеевна Соколова и Антонина Алексеевна Крошкина. Чаще всего я был под опекой Нины Сергеевны. Учебники были старые, затрепанные, писать буквы и цифры мы учились перьевыми ручками на толстой серой бумаге, а иногда и на газетах. Однажды из района прислали для нас несколько новеньких тонких тетрадок в косую линейку. Вожделенные тетрадки достались не всем. В числе прилежных учеников тетрадку получил и я. И был необычайно горд этим.

На переменках в теплую погоду мы играли перед школой в пятнашки, в лапту, а девчонки в коридоре выстраивались в две шеренги, по очереди наступали друг на друга и, обязательно громко топоча, пели:

– А мы просо сеяли, сеяли.

Ой, дид-ладо сеяли, сеяли.

– А мы просо вытопчем, вытопчем.

Ой, дид-ладо вытопчем, вытопчем.

– А чем же вам вытоптать, вытоптать?

Ой, дид-ладо вытоптать, вытоптать?

– А мы коней выпустим, выпустим.

Ой, дид-ладо выпустим, выпустим.

– А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем.
Ой, дид-ладо в плен возьмем, в плен возьмем...

В школу я ходил с большим удовольствием, учеба давалась легко. Появились у меня новые приятели-одноклассники – мальчишки и девчонки из соседней деревеньки Туруково. И среди них Павлушка Гусев, с которым через много лет снова столкнет меня судьба. А обе учительницы и даже молчаливая техничка-истопник Елизавета Михайловна Кузнецова казались мне людьми особенными, необыкновенными.

Ранним январским утром 1944 года нас, всех учеников школы, отправили на один день в Чухлому. Мы радостно разместились на санях, лошади тронулись и неторопливо зашагали зимней дорогой через озеро. Белый-белый упругий наст, прозрачный морозный воздух, только что появившееся на горизонте солнышко, неспешное шуршание полозьев – все было таким празднично-умиротворенным, что мы позабыли о привычных проказах, притихли. В конце недолгого пути я даже не заметил, как задремал.

Днем в большом теплом помещении собралось множество детей со всего района. Солидные дяди и тети долго говорили о пользе хорошей учебы, хвалили нас, наших учителей, зачитывали последние сводки Совимформбюро об успешном наступлении наших войск. Мы дружно хлопали в ладо-

ши, кричали «Ура!». Потом нам показали кинофильм о войне, название которого припомнить не могу, а перед ним – киножурнал о трудовых подвигах работников тыла и очень смешную короткометражку о героических действиях красноармейцев и трусливых недотёпах фрицев.

Вечером в столовой нас сытно и вкусно накормили гороховым супом, котлетами с картофельным пюре и сладким компотом. Разомлевшие от еды, мы так же, как и утром, разместились в санях. Всю обратную дорогу веселились, толкались, задирали девчонок, распевали песни. Учительницы снисходительно глядели на наши шалости. Вернулись домой, когда давным-давно на небе горели яркие холодные звезды.

Каждый год в августе несколько дней подряд Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна собирали все четыре класса и вели в поле теребить лен. В летнюю страду рабочих рук недостает, приходится прибегать к помощи детей. Мы стараемся изо всех сил. Под палящим солнцем выдергиваем растения из земли, связываем в снопы так, как нам показывают учительницы. Пот застилает глаза, руки саднит, нагибаться и разгибаться все труднее и труднее, хочется пить. Силенок маловато, но виду не показываем. Учительницы все видят и понимают, жалеют нас и после четырех часов работы отпускают по домам. Мы идем не спеша, с чувством выполненного долга.

От отца по-прежнему приходили короткие письма с фронта. В последнем он писал, что участвует в боях за полное снятие блокады с Ленинграда. Я до сих пор помню фразу: «Идем по горам немецких трупов от Красного села в сторону Гатчины». А вскоре пришло письменное сообщение о том, что он в феврале 1944 года пропал без вести. Я стал не просто сиротой, а круглым сиротой. Женщины жалели меня, участливо заговаривали со мной, старались приласкать: сироты в деревне были, круглыми – лишь я и брат.

На нас с Лёней тетя Паня оформила опеку. Детям пропавших без вести фронтовиков государство не платило ни копейки, а за опеку полагалось пособие.

По пути в школу и обратно я всегда быстро пробегал мимо дома семьи Мумриных, боялся встретить тетку Степаниду. Удавалось это не всегда. Она из-за калитки молча и, как мне казалось, сердито глядела на меня, ведь на моей голове была одета сползающая на глаза старая ушанка Мумрина. При очередной встрече тетка Степанида преградила запорошенную снегом тропинку, наклонилась, поправила на мне шапку, неожиданно улыбнулась и сказала, чтобы я не боялся ее. Потом вытащила из кармана полушубка пирожок и вложила его мне в руку. Пирожок оказался теплым, с картофельной начинкой. Конечно же, она меня поджидала специально. Медленно шел домой, и мне долго еще мерещилась добрая улыбка тетки Степаниды.

А война катилась на запад. Люди получали солдатские треугольники уже из самой проклятущей Германии. Иногда с фронта приходили даже небольшие посылки с материей, обувью, брошками, бусами, даже женским бельем невиданного качества. Ходил слух, что в какой-то деревне нашего района одна многодетная семья получила с фронта посылку, в которой среди прочего было три куска хозяйственного мыла. Два из них хозяйка отвезла в Чухлому и на базаре то ли продала, то ли на что-то обменяла. Потом пришло запоздалое письмо, в нем муж требовал ни под каким видом мыло не расходовать до его возвращения. Как оказалось, именно в тех двух кусках были «замурованы» золотые вещицы. Трудно сказать, правда это была или лишь досужая выдумка, которая оживленно обсуждалась в деревне. А вот другой слух расплзался по большому секрету: где-то в лесах нашего района нашли пристанище вооруженные дезертиры. Позднее оказалось, что слух этот был не беспочвенным...

Солнечным майским днем со стороны Андреевского прииска на лошади молодой парень – нарочный из района, промчался вдоль деревни, беспрерывно и громко крича лишь одно слово: «Победа! Победа! Победа! Победа!..» Отовсюду к часовне сбежались люди, окружили нарочного. Он только и мог сказать, что поступило правительственное сообщение о конце войны, что он по приказу райкома объез-

жает деревни. И тут же ускакал по дороге в Туруково.

Все кричали, смеялись, плакали. Плакали женщины. Одни – слезами радости и счастья: их родные вскоре наконец-то вернутся с войны. Другие рыдали от безысходного горя: их мужья и сыновья уже никогда не переступят порог родного дома. Я, конечно, как и все, радовался, что Гитлеру пришел «капут», но нахлынувшее невыразимо тоскливое чувство одиночества не отпускало меня. Ласковые, участливые слова добрых деревенских женщин еще сильнее бередили незаживающую рану, обостряли сознание непоправимости беды, я отворачивался, убегал и тихо плакал, чтобы никто не мог этого заметить.

Весной 1946 года пришел вызов из Ленинграда от дяди Лёши. Вызов пришел не только на нашу семью, но и, к изумлению всей деревни, – на Мумрина.

Мне уже было почти десять лет, я окончил второй класс, многое стал понимать из того, что происходит вокруг. Многому научился, знал, в какой последовательности надо запрягать лошадь, как ее подковать, как на колючей стерне ставить суслоны ловко перевязанных снопов ржи, как молотить снопы на току, как метать стога сена, как «с выходами» станцевать всю «Козулю» и много других премудростей деревенской жизни. Конечно же, все это я знал и умел лишь умозрительно, «про себя». Детский глаз приметливый, мельчайшие детали четко и надолго остаются перед внутренним взором,

как на экране. Жаль, через годы все это сначала подзабылось, а затем куда-то уплыло насовсем.

Здесь, в деревне, я твердо усвоил, что такое доброта, душевность, сочувствие простых людей. Познал в полной мере и сердечную глухоту, злобу, несправедливость.

Главное же – здесь я впервые и навсегда подсознательно ощутил себя как маленькую частичку земли, меня никто не учил, но я сам постепенно научился видеть красоту деревенской природы, слушать глухой, таинственный шум леса, различать многоголосье птиц. Сердце подпрыгивало от восторга, когда я бежал напрямки через ржаное поле, расцвеченное васильками. Интересно было наблюдать, как стремительные серпокрылые ласточки сооружают под стрехой гнездо, как внимательно следят вороны с высоченных берез за всем, что происходит внизу на земле. Неизъяснимое, щемящее чувство переполняло душу при виде строгого клина гусей, плывущих высоко в небе в южные края...

Пришел день, когда около нашего дома остановилась невиданная доселе полуторка. От нее непривычно и, как нам, детям, показалось, вкусно пахло бензином. Вынесли из дома чемоданы и узлы, погрузили в открытый кузов, там же расположились Мумрин, Лёня и я, а тетя Паня с Эдиком на руках села рядом с шофером. Односельчане со стороны молча наблюдали за предотъездной суетой, лишь дети хозяев Катя, Тоня, Миша и Саша, а также мои и Лёнькины при-

ятели топтались рядом с машиной, что-то говорили нам, перебивая друг друга. Быстрым шагом подошли мои любимые учительницы Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна. Я перемахнул через борт и оказался в их объятиях. Они плакали, а я держался изо всех сил. Наконец меня снова посадили в кузов, шофер крутанул мотор заводной ручкой, он зачихал, затем ровно застучал. Раздался протяжный сигнал, и машина тронулась. Ребята с криками бежали сзади почти до мельницы, размахивали руками. Вот и наша речка Вёкса осталась позади.

Прощай, Федоровское, прощай ясное и горькое детство...

Тридцать три года спустя

*Приду на старьй маленький погост,
Зажгу свечу на холмике заросшем...*

Ольга Колтакова

В начале отпускного августа 1969 года меня захлестнуло непреодолимое желание съездить в Федоровское, навестить могилу мамы. Признаюсь, желание возникало еще раньше, но чтобы так остро, так навязчиво – такого не припомню. Долго объяснять Дине не пришлось, жена все сразу поняла, быстро собрала дорожный чемодан.

И вот я уже в Галиче. Проблем с транспортом, как в давние военные годы, нет. Автобус ждет пассажиров у вокзала. Правда, автобус маленький, уже заполнен под завязку, но это не беда, угнезвился в проходе на чемодане. За окошком резво пробегают перелески, зеленые поля, на них пасутся коровы, овцы. Словом, все как тогда, в мои детские годы.

После обеда автобус затормозил в самом центре Чухломы. Спрашиваю молодого водителя, как бы мне добраться до Андревского. А он так небрежно отвечает, что это проще пареной репы, главное – чтобы я далеко от автобуса не уходил, совсем скоро он сам поведет его в Солигалич, а это по пути. От денег за проезд он решительно, даже с какой-то обидой, отказался.

Тронулись, когда начался сильный дождь. В Андреевском

закрытой остановки не было, струи ливня хлестали со всех сторон, ветер норовил сбить с ног, свирепо грохотал гром, сверкали жуткие молнии. Я вскинул на голову свой легкий чемодан в надежде защититься от стихии, но какая там защита – вмиг стал мокрым насквозь. Медленно, по раскисшей дороге побрел в сторону Федоровского. Вот и речка Вёкса. Вроде все так, да не так: нет нашей старой мельницы. И тут совсем неожиданно притих ветер, распахнулись, умчались тучи, землю залил солнечный свет. Сразу всё вокруг заулыбалось, на душе стало радостно и спокойно. Уже весело зашагал напрямик по глубоким лужам. А чего там, все равно в ботинках давным-давно чавкает вода. Справа от дороги, как ни всматривался, не углядел даже следов когда-то огромных силосных ям.

Волнуясь, вошел в такую знакомую, ставшую родной деревню. На месте, где когда-то стояла ветхая часовня, увидел трех беседующих женщин, подошел к ним, поздоровался. «Ты кто, такой пригожий, будешь-то?» – улыбаясь, спросила одна из них. Я приготовился объяснять, кто я и зачем пожаловал, но лишь только назвал себя, как женщины загомонили, наперебой называя меня «духонькой» – именно так здесь исстари заменяют слово «душенька». Меня они хорошо помнили, помнили брата Лёню и, конечно же, мою маму. Оказалось, в доме Шараповых уже давно никто не живет, он пустует. Старики давно умерли, ребята разъехались, а вот Катерина и Тоня живут в другой стороне района. Я при-

уныл. Одна из женщин тут же заметила: «Полно, духонь, андел мой, расстраиваться-то» и повела к себе в избу. Анна Васильевна Смирнова – так звали добрую женщину – нашла сухую одежду, накормила, напоила чаем и уложила спать на сеновале.

Ночью у меня поднялась температура. Накануне я все же здорово простудился под ливнем. Отлеживался двое суток, хозяйка смогла уговорить меня лишь сжевать кусочек горячего пирога, попить заварку с сухой малиной и проглотить несколько каких-то таблеток. Долго валяться в мои планы не входило, я сказал, что хочу пойти в Понизье. Анна Васильевна резонно заметила, что самому мне могилу не найти, а она точно помнит, где похоронена мама, надо еще денек потерпеть, а в воскресенье мы вместе туда ходим.

Вечером вышел из дома. Уже подходил к пруду, где в детстве ловил рыбешку и катался на плоту, как вдруг из проулка, держась за тын, появился пьянящий всклокоченный мужик.

– Ты кто? – дружелюбно обратился он ко мне.

– А ты кто? – улыбаясь, спросил я.

– Я здесь живу, – сказал он твердо.

– Да нет, здесь раньше жил гармонист Борька Сарафанов, – первое, что пришло на ум, сказал я.

– Так я и есть Борька Сарафанов! – заверил он. – А ты-то кто?

– Ну а я – Борька Друян.

– Духонька, Борька! – заорал он и принялся меня обнимать. – Вот это да! Пойдем ко мне, Нюрка нам живо сообразит за встречу!

А его Нюра уже шла нам навстречу в поисках благоверного. Мне стоило большого труда отказаться от немедленного похода в гости. Пообещал, что непременно завтра-послезавтра зайду к ним.

Понизье наверняка так названо потому, что находится намного ниже окрестных деревень. Обычно храмы на Руси строили на взлобках, возвышениях. А вот церковь Преображения Господня была построена именно здесь, в низине – в Понизье в самом конце восемнадцатого века.

Рано утром, прихватив лопату, мы с Анной Васильевной идем по деревне. Замедляю шаг у двухэтажного дома Шараповых. Двери и окна забиты досками. Невдалеке та самая лужа, возле нее меня подхватила на руки мама, когда возвратилась из поездки в Череповец к раненому отцу. Молча выходим за околицу. И вот вдалеке на уровне глаз, на фоне голубого неба показался темный церковный купол. Слева от зверски раскатанной грунтовой дороги на почтительном расстоянии – кустарник, переходящий в смешанный лес, справа – знакомые поля спелой ржи. Моя спутница рассказывает, что церковь после войны сначала закрыли, а потом разорили. Внутри все разломали, растащили все, что было можно.

Разобрали бы и кирпичную кладку для колхозных надобностей, да она в старые времена делалась так, что даже тракторы не смогли ее одолеть.

В неторопливых разговорах незаметно дошли до цели. С большим трудом в высоченной траве и крапиве проложили себе тропинку к церкви. Она оказалась действительно в ужасающем состоянии. Мы обошли ее вокруг и остановились буквально в двух метрах от стены. Здесь была похоронена мама. Даже холмика не было, лишь в земле вдавлен, распластан – наверняка тракторными гусеницами – весь изогнутый кованный крест. «Ничего, духонь, ничего, мы с тобою все поправим, вот бабушке твоей еще хуже», – показала Анна Васильевна на остатки такого же креста. Через него проросло большое дерево.

Сквозь кроны деревьев с трудом проникал солнечный свет, вокруг стояла до осязаемости густая, звенящая в ушах тишина. Я попросил женщину посидеть в сторонке, а сам скинул рубаху и принялся за дело. Выполол вокруг креста густую траву, крест сумел поднять, по возможности выправить, поработал лопатой – получился небольшой холмик. Затем внутри церкви подыскал четыре доски и обложил ими могилку. А вот с могилой бабушки Ани сделать что-либо было нельзя, я лишь выполол вокруг дерева траву. И всё.

Мы присели рядом с маминой могилой, Анна Васильевна вытащила из кошелки хлеб, огурцы, маленькую водки и граненый стакан. Пот застилал глаза, сердце непривычно гром-

ко колотилось, я сразу же молча проглотил полстакана водки и почувствовал, что не сдержусь, вот она – граница, сейчас горло разорвется от подступившего острого кома. Анна Васильевна тихо, но твердо сказала, чтобы я обязательно попросил Всевышнего упокоить души мамы и бабушки.

Не умел я молиться тогда, не было тогда на мне нательного креста, но я мысленно впервые обратился к Богу, как научила меня простая русская сердобольная женщина.

Возвращение

Однообразно и печально

Шли годы детства моего...

Иван Никитин

Летним солнечным днем 1946 года мы вернулись в Ленинград. Едва зайдя в комнату, я нырнул под стол и принялся шарить по полочкам в надежде отыскать спрятанные до войны плитки шоколада. Увы, там было пусто. Ну, как же так, ведь комната была «забронирована» перед отъездом в эвакуацию, в нее никто не мог проникнуть. Значит, догадался я, шоколад сожрали крысы. А я-то целых пять лет мечтал о своем кладе...

Тетя Паня с дядей Лешей и Эдиком поселились в своей 113 комнате, а мы с братом и Мумриным обосновались в нашей, сотой. Дядя Леша работал на заводе подъемно-транспортного оборудования им. Кирова в отделе технического контроля. Располагался завод недалеко от дома – между Варшавским и Балтийским вокзалами. По утрам его низкий густой гудок звал окрестный люд на работу. К нему присоединялись гудки других заводов за Обводным каналом. Каждый гудок имел свой, «фамильный», голос.

Брат поступил учиться на электромонтера в ремесленное училище на 7-й Красноармейской улице, где он проводил почти все свое время. Ремесленникам полагалась форменная

одежда, их хорошо кормили. Я сам убедился в этом. Однажды Ленька приболел, и тетя Паня послала меня обедать в ремеслуху вместо него. Помнится, я даже расстроился, что брательник быстро оклемался. Жил я с постоянным ощущением голода, был маленьким заморышем. Тетя Паня презрительно называла меня водяной крысой, ведь я без труда пролезал сквозь металлические прутья спинки кровати.

Всем в то время жилось туго, но даже тогда было много не очерствевших сердцем людей. Напротив нас в маленькой комнате жила добрая женщина с двумя детьми. Фамилия ее была Мухина. Перебиваясь, как тогда говорили, «с воды на квас», она иногда залучала меня к себе и угощала квашеной капустой с клюквой. Да и все в нашем длинном коридоре помнили моих родителей, понимали, как несладко мне приходится, и были внимательны ко мне. Тетку мою они не жаловали, называли барыней: она была единственной, кто мог нанять вместо себя делать в ее очередь уборку коридора, кухни и двух уборных. А постоянно убирала за нее сильная, хозяйственная женщина тетя Шура Лебедева, работавшая всю свою жизнь дворником у Балтийского вокзала. К тому же тетя Паня всех настойчиво просила называть ее не Прасковьей Александровной, а «на городской манер» – Полиной Александровной.

Целыми днями я пропадал на улице, там было так интересно! Вместе с новыми приятелями носились среди бесчисленных дровяных сараев, дрались с мальчишками из сосед-

них дворов, рассказывали друг другу страшные были-небылицы, катались на подножках и колбасе пассажирских и грузовых трамваев, умудрялись без билетов прошмыгнуть в кинотеатр имени Карла Маркса – «Карлушу». Здесь я впервые увидел фильм «В шесть часов вечера после войны». С большим азартом мы играли на мелочь в орлянку, в пристенок. Но чаще – в битку. Посередине нацарапанной на земле черты столбиком ставились монеты. С определенного расстояния по очереди пытались попасть увесистым кругляшом-битком по кучке монет, а затем переворачивали ловким ударом «с оттягом» монеты с орла на решку или наоборот – до первой неудачи, уступая место другому игроку. У меня был хороший глазомер, я частенько выигрывал. Бывало и так, что обыгранные старшие по возрасту пацаны отнимали у меня деньги, а если я осмеливался артачиться, давали еще чувствительного «леща». Лучше всех играл Женька Моряков из соседнего двухэтажного флигеля. Много лет спустя знатный токарь, Герой Социалистического труда, скромнейший человек любил в тесной компании вспоминать о своих детских успехах и просил меня подтвердить, что все так и было.

Иногда в нашей ватаге возникали легкие конфликты, которые разрешались очень просто: два соперника становились друг против друга в плотном кольце приятелей и по команде начинали драться кулаками. Ноги пускать в ход строжайше запрещалось, как и бить лежачего. Нарушитель строгого кодекса чести жестоко наказывался. Дрались «до первой

кровянки» из расквашенного носа или губы. Обиды жили недолго, стычки очень быстро забывались. Вчерашние «дуэлянты» с увлечением гоняли в одной команде в футбол. Вместо мяча годилось его подобие – набитая тряпьем старая шапка, а то и консервная банка. Владелец настоящего мяча из кожмита был для нас человеком особым, значительным. Он появлялся с мячом под мышкой, и мы восторженно глядели на него в предвкушении настоящей игры. Как ни остерегались, но наши состязания частенько заканчивались разбитым окном, мы летели врассыпную, затем собирались в дальнем краю сараев, опасаясь праведного гнева взрослых. Особенно боялись управдома, приземистого лысого человека. Он знал всех нас поименно, знал, кто где и с кем живет. Мы уже смирились с тем, что от него никуда не скроешься, как ни старайся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.